

УДК 111.84

А.В. Яркеев

БЫТИЕ СОЦИАЛЬНОГО В ПОЛЕ ПРАВОВОЙ ДИСКУРСИВНОСТИ

В статье рассматривается социальное бытие в структурах правового дискурса. Правовой дискурс понимается как один из способов существования языка. Невозможность фактического предъявления социальной целостности свидетельствует о ее бытии не «по факту», но «по праву». Целостность социального бытия реализуется в точке тождества права и языка. Субстанциализация и объективация языковых конструкций приводит к дуализму «язык/действительность», который «разрывает» тождество права и жизни. В результате правовая система распадается на чистое существование права, не имеющего отношения к жизни, и голую жизнь, не имеющую отношения к праву. Дискурсивное единство рассыпается на абсолютный субъект, объект и язык. Язык превращается в средство управления субъекта объектом. Правовое управление жизнью находит свое крайнее выражение в существовании концлагеря как места, в котором абсолютный правопорядок неотличим от абсолютного бесправия и беззакония. Концлагерь как предельная ситуация человеческого существования предъявляет чистое бытие языка как границы, отделяющей человека от животного. Выход за пределы языка тождествен смерти человека. Языковой поворот, выступающий условием сохранения человеческой жизни, предполагает возвращение мыслящего и говорящего субъекта в пространство правовой дискурсивности.

Ключевые слова: социальное бытие, правовой дискурс, чрезвычайное положение, голая жизнь, homo sacer.

Очевидно, что право – это один из способов существования языка, то есть правовой дискурс. Этот тезис можно рассматривать как отправную методологическую установку: чтобы понять бытие права как такового и бытие социального в структурах права, необходимо, прежде всего, обратиться к бытию самого языка. «Проблема языка никогда не была рядовой проблемой среди прочих, но сейчас она, вне всякого сомнения, стала глобальным горизонтом самых разнообразных исследований и дискурсов... Историко-метафизическая эпоха должна согласиться с тем утверждением, что язык составляет весь ее проблемный горизонт» [7. С. 66]. Язык, по словам В. Бенямина, есть выражение духовной жизни человека, он «означает принцип, направленный на сообщение духовных содержаний в соответствующих предметах – технике, искусстве, юстиции или религии» [4. С. 7]. Человеческое бытие способно открываться множеством различных способов в языке, но не *посредством* языка.

Предположение существования дискурсивного (языкового) и не-дискурсивного (неязыкового) потребовало бы для их взаимодействия отсылки к транс-дискурсивной позиции. Чтобы получить возможность сформулировать правила дискурса, говорящий должен занять по отношению к нему «транс-дискурсивную» позицию. «Однако это только усугубляет проблему, поскольку “транс-дискурсивная” позиция предполагает, что занявший ее субъект становится трансцендентным по отношению к сфере дискурсивного, а значит, оказывается выброшенным за пределы языка, что, в свою очередь, вообще лишает субъекта какой бы то ни было возможности высказывания» [14. С. 15-16]. Иными словами, нет никакого трансцендентного субъекта, который стоял бы вне языка, производил его и выражал себя, точно так же, как нет никакой жизни в ее непосредственности (чистой объективности или данности), которая могла бы затем подвергаться сигнификации и включаться тем самым в язык. Как отмечает В. Бенямин, именно то обстоятельство, что «посредством» языка ничто себя не выражает, но лишь сообщает «в» языке, говорит о том, что это «сообщаемое» нельзя ограничить извне и измерить, поэтому языку присуща его собственная неизмеримая бесконечность [4. С. 10].

Язык и жизнь существуют в тождестве: то, что жизнь способна выражаться в языке, говорит о языковой сущности жизни; языковая сущность жизни есть ее язык; язык жизни предъявляется в жизни языка. В этом смысле право есть, как уже отмечалось, один из способов, которым жизнь самоопределяется, самоорганизуется, самоконституируется и самопредъявляется в структурах языка, а не включается извне в символический порядок трансцендентным субъектом посредством насильственного жеста. Право и жизнь совпадают в точке языка (жизнь = право = язык).

Языковая «сообщаемость» жизни свидетельствует о жизни со-общества, со-в-местного бытия людей, а не отдельного человека, поэтому «быть» для человека означает «быть среди людей» (*inter homines esse*). Поскольку люди принципиально живут «в» языковых структурах, постольку язык никогда не бывает безразличным по отношению к тому, «как» люди живут. Это «как» отражает «определенный образ жизни», который греки именовали *bios*, противопоставляя его чисто животному, вне-

языковому существованию *zoe*. Язык сущностно обладает свойством перформативности, то есть он способен производить/изменять то, что именуется (в этом состоит «сила языка»). Язык одновременно представляет собой субъект и объект, продукт и продуктивность (Ф. Шеллинг), природу творящую и природу сотворенную (Спиноза). С этой точки зрения, бесправие и аномия непосредственно порождаются самим правовым дискурсом, а не предшествуют ему. Внеправовая зона аномии всего лишь указывает на существование других порядков (дискурсивных практик) и возможность иных способов самоорганизации жизни в структурах языка. Аномия одновременно является и избытком правопорядка, который он продуцирует, и его нехваткой. Язык, являясь «местом» актуализации дискурсивности (*discusso* означает разделение и движение в разных направлениях, игру различий), представляет собой пространство, в котором пересекаются две линии его бытия – стремление к нормированности и инвариантности, с одной стороны, с другой – к трансформации и изменчивости (аномии). «Точкой пересечения этих противоположных течений выступает говорящий субъект как *auctor*, который каждый раз принимает решение о том, что можно и что нельзя сказать, о выразимом и невыразимом на этом языке» [1. С. 168]. Очевидно, что такой точкой является точка границы языка, точка совпадения/разделения нормы и аномии; это подвижная неподвижность и неподвижная подвижность. Ввиду того, что положения вне языка не существует, граница между аномией и нормой является внутренней границей «в» самом языке (иначе говоря, у границы языка есть только внутренняя сторона, но нет внешней). Тогда отношение между нормой и аномией является отношением между статикой и динамикой языка, между фиксированными структурами значений (нормами) и текучей магмой смыслообразования, «жизнью языка».

Язык, по М. Хайдеггеру, есть «дом человеческого бытия», номосом которого является закон языка. Закон языка становится языком различных законов общества – религиозных, моральных, юридических и т. п.: «Любое общество, каким бы оно ни было, обладает всеми своими правилами сразу – юридическими, религиозными, политическими, экономическими, правилами любви и труда, деторождения и брака, рабства и свободы, жизни и смерти... Вот почему закон обладает силой еще до того, как известен объект его приложения, и даже при том, что этот объект, возможно, никогда не будет в точности познан» [8. С. 71]. Закон не только определяет, что разрешено и что запрещено, но и, более фундаментально, то, что имеет свое имя и является нормальным, и то, что является именованным и ненормальным. Таким образом, закон – это всегда решение вопроса о существовании, поэтому закон является не только юридическим вопросом, но и онтологическим [3. С. 89-90].

Одним из важнейших вопросов в области социальной онтологии является вопрос об обосновании бытия общества как целого. В ряде современных теоретических работ по социальной философии общество задается в терминах негативности, отстаивается точка зрения о «неописуемости сообщества» (М. Бланшо), «невозможности общества» (Э. Лакло), «непроизводимости сообщества» (Ж.Л. Нанси), «конце социального» (Ж. Бодрийяр) и т. п. Претензии на предъявление социальной целостности расцениваются как идеологическая репрезентация тотального порядка. «Социальное существует только как тщетная попытка учредить невозможный объект: общество» [12]. Общество как целое выводится на предел собственного существования, то есть его существование утверждается в качестве не-существования.

Проблема состоит в том, что невозможно обнаружить и предъявить эмпирическим путем существование общества как целого. Для этого потребовалось бы занять объективную позицию абсолютного субъекта. Дискурс об обществе с такой позиции, очевидно, не может являться ничем иным, кроме как идеологией, мифом или утопией. Социальная целостность в этом смысле представляет собой тотальность не только идеальную, но и искусственную (будущее человечества или избранная раса), которая опирается на насилие и требует от людей постоянной мобилизации.

Эмпирически мы имеем дело только с индивидами как фактическими «частями» целого. Однако возможность получения целого через части ограничивается невозможностью обнаружить точку перехода, когда некая совокупность частей становится целым (так называемый «парадокс кучи»). Таким образом, вопрос об обществе как целом оказывается не «вопросом факта» (*quid facti*), а «вопросом права» (*quid juris*). «Если мы выходим за пределы данного нам в опыте, то именно благодаря принципам, которые суть наши собственные – по необходимости *субъективные* – принципы. (...) Вот почему за вопросом факта следует более важный вопрос: вопрос права, *quid juris?*» [9. С. 157-158]. Общество как целое обладает не фактическим существованием, а исключительно правовым, или символическим. Фактическое существование общества предстает как основанное на праве (*de facto = de jure*).

Так как право и жизнь, норма и факт находятся в ситуации взаимопринадлежности (совпадают в точке языка), то нормативное определение жизни невозможно «за» пределами жизни – определение жизни принадлежит самой жизни. Как в парадоксе описания листа бумаги, когда описание наносится на сам лист, тем самым описание включается в объект описания, изменяя его, и через это постоянно обнаруживает собственную нехватку. Жизнь всё время ускользает от нормативного описания. Язык одновременно избыточен и недостаточен по отношению к действительности, но на самом деле эта избыточность/недостаточность языка имеет отношение только к самому языку и обнаруживается нами при попытке соотносить язык с некоей объективированной внеязыковой действительностью в терминах репрезентативности. Однако сама «действительность» есть не что иное, как определенная языковая конструкция. Определяя «действительность» как «такую-то и такую-то», мы отбрасываем другие возможные её определения как иные языковые конструкции (комбинации означающих). То есть «действительность» может быть выражена и другими способами, а поэтому ее определенное выражение всегда оказывается не-полным, не-достаточным. Но эта нехватка возникает только вследствие «неузнавания», упущения из виду того, что «тот, кто считает, тоже включен в подсчет» (Лакан). Иными словами, эта лакуна в праве является местоположением «исключенной» субъективности. Элиминация саморефлексирующего субъекта «разрывает» право и жизнь (описание и описываемое), объективирует их, приводя к появлению «лакуны» в праве. Утверждение независимого друг от друга существования языка и действительности, то есть языкового и внеязыкового, приводит к дуализму. «Система же дуализма, если она действительно мыслится как учение о двух абсолютно различных и независимых друг от друга началах, есть лишь система разорванности и отчаяния разума» [15. С. 104]. Стремление ликвидировать эту лакуну оборачивается ее увеличением: чем усерднее лакуна заполняется, тем большей она становится. Действительно, каждое новое определение лишь увеличивает степень неопределенности того, что определяется. На пределе лакуна права становится соразмерной самому праву, право начинает совпадать с собственной лакуной, целиком проваливаясь в нее – как бы под тяжестью собственных нагромождений – и выворачиваясь наизнанку абсолютным бесправием. Этот «провал» права обозначается «чрезвычайным положением» как ситуацией полной приостановки права, возникающей вследствие стремления достичь абсолютно идеального состояния правовой системы, в которой было бы реализовано полное совпадение права и жизни, нормы и факта в виде жесткой структуры значений. Однако на деле это приводит к полному несовпадению жизни и права – они распадаются на чистое право, более не имеющее отношения к жизни, и голую жизнь, лишенную всякого права. Объективация правовой субъективности результируется в ее расщеплении на индивида как бесправного представителя голой жизни (*homo sacer*) и абсолютного субъекта как производящую основу права, который ставит себя «над» правом, распоряжаясь им по своему усмотрению, то есть устанавливая собственное право, тем самым разрушая существующее право.

Итак, языковое субъект-объектное тождество права и жизни распадается на абсолютную субъективность права, абсолютную объективность голой жизни и язык как то, что находится «между» субъектом и объектом. Из перформативной природы языка (способность языка воздействовать на ту реальность, которую он производит) следует возможность его превращения в «средство» воздействия субъекта на объект, когда язык подчиняется и ставится на службу для достижения каких-то целей, что реализуется в двух сферах человеческой деятельности: познании и управлении. В первой из них язык сводится к дескриптивно-номинативной функции, позволяющей «фиксировать» научные истины, то есть включать жизнь в жесткие структуры значений; в сфере же управления человеческими делами язык становится прескриптивно-императивным, то есть повелевающим. Обе функции сопровождают и дополняют друг друга: первая объективирует, вторая управляет объектом. С точки зрения этих двух видов (языковой) деятельности, любое определение – не только констатация (фиксация), но и приказ. Человек не просто констатируется как «животное, умеющее говорить», но ему приказывают говорить; животное не просто схватывается как «человек, не умеющий говорить», но ему запрещается говорить, его заставляют умолкнуть. То, с чем мы в таком понимании сталкиваемся, – это, с одной стороны, «болтовня», без устали производящая «просто знаки» (антропологическая машина), а с другой – «немота». Лишение человека фундаментального для его существования права голоса как права публично выражать свое мышление среди людей автоматически превращает его в не-человека, в *homo sacer*. Переход от требования: «Не рассуждайте, повинуйтесь!» – к современному требованию: «Рассуждайте о чем угодно, только повинуйтесь!» – дезавуирует человеческую речь, делает ее бессмысленной. Болтовня становится неотличимой от немоты. Действительно: какая разница, будешь ты молчать или тебя просто не будут

слушать? Если языковой акт представляет собой единство говорения и слушания, то отмена хотя бы одной из сторон с необходимостью отменяет и другую (как известно, глухота неизбежно сопровождается утратой дара речи). Исконно человеческое правом («естественное право») – говорить и быть выслушанным. Исключенные из символического порядка *homo sacer* – это те, чью историю никто не обязан слушать. В этом смысле бесправность *homo sacer* заключается прежде всего и именно в том, что он не имеет права быть выслушанным. Ж. Рансьер отмечает двойной смысл *логоса*: как *речи* и как *учета*. Лишение права быть учтенным в символическом порядке является – это вместе с тем и лишение артикулированной речи, превращение ее в фонетический шум, который может выражать только животную боль или животное удовольствие. «Кого мы не хотим признавать в качестве политического существа, мы начинаем не видеть как носителя знаков политичности; мы начинаем не понимать, что он говорит, не слышать, что из его уст исходит речь» [13. С. 212].

М. Фуко обстоятельно показывает, как это соединение знания и власти (знание-власть) с Нового времени, кладущего начало построению дискурсивности в терминах субъекта и объекта, приводит к формированию целой серии диспозитивов, связанных с интернированием и заточением в исключенных пространствах безмолвия фигур не-человеческого: к животным присоединяются безумцы, дети, женщины, вольнодумцы, транссексуалы, бедняки, старики и пр., – «целая мифология террора и отлучения на основе всё более и более расистского определения “нормального человека”. Квинтэссенция нормальности: в последнем итоге все “категории” подвергнутся исключению, сегрегации и проклятию, и тогда-то общество станет наконец универсальным, в нем наконец сольются воедино нормальность и универсальность под знаком человеческого» [5. С. 233]. Язык «знания-власти» превращается в средство символического насилия. Как полагает С. Жижек, человеческое насилие специфично в своей чрезмерности именно потому, что человек обладает языком [11. С. 51]. В точке отделения и противопоставления слова и насилия конституируется право как власть слова над насилием. Тогда право становится насилием над насилием, то есть насилием, возведенным в квадрат. Возникает различие между чистым насилием и насилием права, опирающимся на силу языка, то есть так называемым «легитимным» насилием. Однако здесь, скорее, следует говорить не о насилии, опирающемся на слово, а о слове, которое опирается на чистое насилие. Это – право, которое является правом сильного. Здесь насилие переходит в право (правоустанавливающее насилие), а право – в насилие (правоподдерживающее насилие). Но насилие в принципе не может быть легитимным, ибо, как справедливо отмечает Х. Арндт, у насилия нет и не может быть языка: «Там, где насилие правит абсолютно, как, например, в концентрационных лагерях тоталитарных режимов, должны умолкнуть не только законы..., но всё и вся. (...) Дело здесь даже не в том, что слово оказывается беспомощным, когда сталкивается с насилием, но в том, что насилие как таковое неспособно к тому, чтобы быть выражено словесно» [2. С. 15]. Тогда слово, опирающееся на насилие, становится пустым и чисто формальным. Действительно, в чем состоит принципиальная разница между приказом, отданным представителем официальной власти, и приказом, отданным бандитом? Или в чем принципиальная разница между террористами, отрезающими людям головы и делающими при этом различного рода заявления, и бомбардировками мирного населения со стороны стран западной коалиции, «легитимирующих» это дискурсом «гуманитарного вмешательства» и «необходимостью обеспечения прав человека»? Те, кого насильственно «защищают» под лозунгом «прав человека», должны быть бессловесными и беспомощными жертвами, ничем не отличающимися от дичащихся животных; как только эти «жертвы» заявляют о своей готовности самостоятельно бороться за свою жизнь и свои права, они немедленно перекалфицируются в «террористов», подлежащих беспощадному уничтожению. Точно так же, как медицинское слово, исходящее из идеи сохранения жизни, производит труп как идеальное тело (примечательно, что нацисты называли умерщвление людей в концлагерях «медицинским вопросом»), аналогичным образом, пустой правовой дискурс производит чистое насилие и бесправную фигуру *homo sacer* как своего идеального «субъекта права».

Возникающий вследствие «исключения» мыслящего субъекта «разрыв» между языком и миром, нормой права и фактом жизни можно представить как «зазор» между слоями означающего и означаемого («слов» и «вещей», в терминологии М. Фуко). Со стороны означающих «зазор» функционирует как избыточное «пустое», или «плавающее», означающее, а со стороны означаемого – как нехватка, как «сверхштатный пассажир без места» (трансцендентальное означаемое). То есть мы имеем «пустое место без пассажира» и «пассажира без места» [8. С. 61]. Этот парадоксальный элемент, представленный избытком в одной серии и нехваткой в другой, обеспечивает подвижность серий оз-

начающего и означаемого относительно друг друга, их взаимное скольжение. Скольжение осуществляется посредством метафорических замещений и метонимических смещений, что можно назвать «жизнью языка», или – по аналогии с фрейдовским понятием «работа сновидения» – «работой языка». Если исходить из проведенного Г. Фреге различия между объективностью «значения» (денотата) и субъективностью «смысла» (коннотата), то тогда в процессе «работы языка» возникает смысл; смысл исключительно процессуален, в то время как значение является результатом произвольной (при-)остановки работы (жизни) языка. «Под произвольностью языка будем иметь в виду попросту то, что языку не имманентна никакая причинность, что не существует ни божественного языка, ни языка универсального, но имеется всего лишь звучащая масса, которую каждый – и каждый раз – должен наделять значением» [13. С. 137]. Со значением и смыслом в правовом дискурсе соотносятся такие понятия, как «буква права» и «дух права».

В действительности, как показывает парадокс неопределенного размножения Г. Фреге, о двух сериях означающего и означаемого можно говорить лишь условно. Есть только скольжение и игра означающих, а означаемые возникают лишь в качестве «эффекта» этой подвижности отношений между означающими. Аналогично ленте Мёбиуса, у которой есть только одна сторона, хотя кажется, что их две, язык сходным образом представляет собой одностороннюю поверхность (именно поэтому, повторимся, у него есть только внутренняя сторона, но нет внешней). Само различие между означающим и означаемым (акустическим образом и понятием, словом и вещью) возможно лишь благодаря границе, которую устанавливает субъект (исследователь, например лингвист). Точка границы как точка субъекта реализует тождество (целостность) выделяемых сторон: означающее = означаемое. Таким образом, субъект обнаруживается там, где устанавливается граница. «Субъект, обнаруживая себя на границе, осознает условный ее характер, как условность ее субъективной констатации. Осознание произвольности установления границы порождает понимание права ее субъективного изменения, переноса» [6. С. 72]. Исключение субъекта «обнуляет» границу, приводит к субстанциализации означающего и означаемого и появлению «разрыва» между ними.

Соединение пустой и всеобщей нормы права с конкретным фактом жизни – это «точка пристежки», фиксирующая друг относительно друга две серии – означающую и означаемую. «Точка пристежки» как «господствующее означающее» (Ж. Лакан) центрирует свободную циркуляцию означающих, фиксирует ее движение относительно неподвижного центра. Следовательно, «центр закрывает игру, которую сам же открывает и делает возможной. Центр как таковой является той точкой, где более невозможна подмена содержаний, элементов и терминов. В центре наложен запрет на взаимозамещение или превращение элементов (которые, впрочем, сами могут быть структурами, включенными в другую структуру). (...) Таким образом, всегда считалось, что центр, единственный по определению, образует в структуре именно то, что, управляя структурой, ускользает от структурности» [10. С. 446]. Иными словами, центр одновременно находится «в» структуре и «вне» структуры; центр – это не-центр. «И это позволяет прийти к выводу, что центра нет, что его нельзя помыслить в форме присутствующего существа, что у него нет естественного места, что он представляет собой не закрепленное место, а функцию, своего рода не-место, где происходит бесконечная игра знаковых замещений. Вот в этот-то момент язык и завладевает универсальным проблемным полем; этот момент, когда за отсутствием центра или начала всё становится дискурсом – при условии, что мы будем понимать под этим словом систему, в которой центральное, изначальное или трансцендентальное означаемое никогда полностью не присутствует вне некоторой системы различий. Отсутствие трансцендентального означаемого раздвигает поле и возможности игры значений до бесконечности» [10. С. 448]. Таким центральным не-центром в праве оказывается суверен как тот, кто имеет право принимать решение о приостановке действия права. Поэтому он одновременно находится внутри и за пределами правовой системы.

Произвольность соединения означающего и означаемого (правовой нормы и факта жизни, произвольность соединения действия, квалифицируемого как преступление, с последующим наказанием) в ситуации чрезвычайного положения оборачивается абсолютным правовым произволом, или правовым беспределом. Этот произвол закрепляется как абсолютный порядок. Абсолютная дискурсивность правового порядка устанавливается как порядок *полиции*. «Полиция фактически желает “точных” имен, отмечающих прикомандированность людей к их месту и работе» [13. С. 106]. Иными словами, полицейская дискурсивная практика «учитывает только реальные части, действительные группы, определяемые различиями по рождению, по функциям, местам и интересам, составляющим социальное тело – при исключении всяких добавлений» [13. С. 208-209]. Полицейский порядок предпола-

гает полное деление социального тела без остатка, без пустоты и добавлений: «...согласно полиции, общество состоит из групп, посвящающих себя специфическим образам действия, – на местах, где такие занятия осуществляются в способах существования, соответствующих своим занятиям и местам. При такой адекватности друг другу функций, мест и способов существования не существует места ни для какой пустоты. Исключение “того, чего нет”, является полицейским принципом, находящимся в центре государственной практики» [13. С. 210]. Таким образом, полиция является не только и столько дисциплинированием человеческих тел, сколько номологическим законом их распределения и показа.

Пределом деления социального является индивид (от *individuum* – неделимый) как элементарная часть социального, которую делить дальше невозможно. Будучи пределом деления, индивид маркирует границу между делимостью и неделимостью. С одной стороны, индивид находится «внутри» пространства деления как его член, с другой стороны, обнаруживается «за» пределами деления в качестве неделимого далее «остатка». Таким образом, существование индивида предстает парадоксальным ($A = \text{не-}A$), он является «исключенным включенным», или «включенным исключенным». Местоположением этого парадоксального существования оказывается сама граница, так как точки границы можно рассматривать как одновременно находящиеся «внутри» и «снаружи». В фигуре индивида социальное предъясняется на пределе собственного бытия. Но тогда и существование правового «общества индивидов» оказывается парадоксальным: оно полностью исключает само себя, выворачивается наизнанку бесправным не-обществом *homines sacri*. Не-общество можно представить как результат вычитания обществом себя из самого себя. В «пустом» обществе правовой дискурс также оказывается бессодержательным и пустым, то есть превращается в чистую формальность, не имеющую отношения ни к чему, кроме собственной формы. Социальное определяется в точках пустого права, не имеющего отношения к жизни, и жизни индивидов, существующих за пределами права (*homo sacer*). Для всей системы права определяющей оказывается не норма, а именно исключение как точка самоопределения правовой системы. «Нормальное не доказывает ничего, исключение доказывает всё; оно не только подтверждает правило, само правило существует только благодаря исключению» [16. С. 29].

В фигуре *homo sacer* происходит исключение мыслящего и говорящего субъекта. Мышление по своему существу не может регулироваться и регламентироваться извне никаким правом, и поэтому оно находится за пределами права. Мышление не зависит от местоположения того, кто говорит. Свободное мышление открыто всем. Нет никакой гарантии, которая давалась бы трансцендентной инстанцией, властью или священной функцией. Содержание речи того, кто говорит, подтверждается или опровергается не его местом, а лишь тем, что он говорит. Мышление получает легитимность от самого себя [3. С. 37]. Мышление является самоосновным, или суверенным (*sui juris*); право на мышление имманентно самому мышлению.

Парадоксальная ситуация исключаящего включения находит свое крайнее выражение в существовании концлагеря как места, где действует абсолютный порядок, идентичный абсолютному бесправью. Полное совпадение означающего и означаемого говорит о том, что язык выразил абсолютно всё. Поскольку он выразил абсолютно всё и больше ничего выразить не может, язык становится невыразимым, не способным свидетельствовать о чем-либо, превращается в не-язык. Не-язык предъясняет полное несовпадение означающего и означаемого.

С попыткой представить само событие Освенцима в языке возникает парадокс. С одной стороны, его невозможно выразить. Прежде всего, поскольку это событие является беспрецедентным в истории, человеческая культура попросту не имеет (не выработала) соответствующего обозначения. Но самое главное заключается в том, что, будучи абсолютно бессмысленным явлением, Освенцим принципиально находится по ту сторону языка. Любое словесное обозначение сообщает какой-то смысл, но какой смысл может быть у того, что абсолютным образом противостоит смыслу как таковому? Именно поэтому использование применительно к Освенциму таких слов, как «холокост» или «шоа» в попытке вернуть смысл тому, что не имеет никакого смысла, является не просто неадекватным, а даже кощунственным, так как слова эти связаны с жертвоприношением. В результате происходит циничное отождествление газовых камер и печей крематориев с жертвенными алтарями. «В случае же термина “холокост”... установление связи, пусть и самой отдаленной, между Освенцимом и библейским *olah*, между смертью в газовых камерах и “полным самопожертвованием ради священных и высших мотивов” не может не звучать издевательски» [1. С. 31-32].

С другой стороны, всякий отказ от необходимости каким-то образом выразить Освенцим автоматически превращает его в мистически-возвышенный объект, уподобляет Богу апофатической теологии, которому остается только поклоняться в благоговейном и нуминозном молчании.

Возникающая ситуация невозможности выразить и необходимости выразить является чрезвычайным положением в языке и чрезвычайным положением самого языка: в этом состоянии язык существует как приостановленный в своем действии, то есть как не-язык. Если «не язык» – это то, что находится за пределами языка, то «не-язык» маркирует границу языка, предьявляет язык в пограничном существовании. Эта граница одновременно является точкой начала и конца языка. Начало языка отмечает момент его рождения, когда язык «уже» есть, но «еще не» действует, ничего не выражает и ничего не приказывает; смерть – это момент исчезновения языка, при котором язык «еще» есть, но «уже не» выражает ничего и ничего не приказывает. Само пространство концлагеря оказывается бытием языка в состоянии чрезвычайного положения.

Язык в предельном состоянии чрезвычайного положения не выражает и не сообщает ничего, кроме собственной выразимости и сообщаемости, кроме того, что «язык есть». По В. Беньямину, это «чистый язык». Таким образом, на пределе человеческого существования обнаруживается сам этот предел как чистое бытие языка. Именно язык отделяет человеческое существование от чисто животного, или голого. Голая жизнь обладает единственным свойством – свойством «быть живым», которое тождественно свойству «быть убитым». Поэтому движение за пределы языка невозможно (далее, как справедливо пишет Дж. Агамбен, только газовые камеры). Предел языка – это абсолютный предел. Этот предел с необходимостью должен стать точкой саморефлексивного поворота. «Языковой поворот» является условием сохранения человеческой жизни. Речь, следовательно, должна идти о возвращении мыслящей и говорящей субъективности в пространство правового дискурса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агамбен Дж. Homo sacer. Что остается после Освенцима: архив и свидетель. М.: Европа, 2012. 192 с.
2. Арендт Х. О революции. М.: Европа, 2011. 464 с.
3. Бадью А. Политика: неэкспрессивная диалектика // Бадью А. Загадочное отношение философии и политики. М.: Ин-т общегуманитарных исследований, 2013. 112 с.
4. Беньямин В. Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. М.: РГГУ, 2012. 288 с.
5. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, Изд-во «КДУ», 2009. 387 с.
6. Бушмакина О. Proxima: Славой Жижек. Семинары 2007-2008. Ижевск: ERGO, 2010. 144 с.
7. Гурко Е. Деконструкция: тексты и интерпретация. Минск: Экономпресс, 2001. 320 с.
8. Делёз Ж. Логика смысла. М.: Академический проект, 2011. 472 с.
9. Делёз Ж. Эмпиризм и субъективность: опыт о человеческой природе по Юму. Критическая философия Канта: учение о способностях. Бергсонизм. Спиноза. М.: ПЕР СЭ, 2001. 480 с.
10. Деррида Ж. Письмо и различие. М.: Академический проект, 2000. 495 с.
11. Жижек С. О насилии. М.: Европа, 2010. 184 с.
12. Лакло Э. Невозможность общества. URL: http://www.ruthenia.ru/logos/kofr/2002/2002_14.htm.
13. Рансьер Ж. На краю политического. М.: Праксис, 2006. 240 с.
14. Шадрин А. Герменевтика смысла социально-философской дискурсивности: монография. Ижевск: Удмуртский университет, 2009. 142 с.
15. Шеллинг Ф. Сочинения в 2 т.: М.: Мысль, 1989. 636 с.
16. Шмитт К. Политическая теология. М.: КАНОН-пресс-Ц, 2000. 336 с.

Поступила в редакцию 15.07.16

A.V. Yarkeev

SOCIAL BEING IN THE FIELD OF LEGAL DISCOURSIVENESS

The article discusses social life in the structures of legal discourse. Legal discourse is understood as one of many ways of existence of language. The impossibility of the actual presentation of social integrity is evidence of its existence not "in fact", but "as of right". The integrity of social life is realized at the point of identity of law and language. The substantialization and objectification of language constructs leads to the dualism "language/reality", which "breaks" the identity of law and life. As a result, the legal system breaks down into pure existence of law, irrelevant to life, and bare life, unrelated to law. Discursive unity breaks down into absolute subject, object and language. Language becomes a means of control. Legal control of life finds its ultimate expression in the existence of concentration camps as a place in

which the absolute rule of law is indistinguishable from absolute lawlessness and iniquity. The concentration camp as an extreme situation of human existence provides a pure being of language as a boundary that separates man from animal. Going beyond language is identical with death. A linguistic turn acting as a condition for preservation of human life involves the return of a thinking and speaking subject into the space of legal discursiveness.

Keywords: social life, legal discourse, state of emergency, bare life, homo sacer.

Яркеев Алексей Владимирович,
кандидат философских наук, доцент,
старший научный сотрудник, доцент кафедры
истории, теории и практики социальных коммуникаций
Удмуртский филиал Института философии и права,
Уральское отделение Российской академии наук
426004, Россия, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 4
ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»
426034, Россия, г. Ижевск, ул. Университетская, 1 (корп. 4)
E-mail: alex_yarkeev@mail.ru

Yarkeev A.V.,
Candidate of Philosophy, Associate Professor,
Senior researcher
Udmurt branch of Institute of Philosophy and Law,
Ural Branch of The Russian Academy of Sciences
Lomonosova st., 4, Izhevsk, Russia, 426004
Udmurt State University
Universitetskaya st., 1/4, Izhevsk, Russia, 426034
E-mail: alex_yarkeev@mail.ru